

## Иркутск с нами

Удивительно и невыразимо чувство родины... Какую светлую радость и какую сладчайшую тоску дарит оно, навещая нас то ли в часы разлуки, то ли в счастливый час проникновенности и отзвука! И человек, который в обычной жизни слышит мало и видит недалеко, волшебным образом получает в этот час предельные слух и зрение, позволяющие ему опускаться в самые заповедные дали, в глухие глубины истории родной земли.

И не стоять человеку твердо, не жить ему уверенно без этого чувства, без близости к деяниям и судьбам предков, без внутреннего постижения своей ответственности за дарованное ему место в огромном общем ряду быть тем, что он есть. Былинный источник силы от матери — родной земли представляется ныне не для избранных, не для богатырей только, но для всех нас источником исключительно важным и целебным, с той самой волшебной живой водой, при возвращении человека в образ, дух и смысл свой, в свое неизменное назначение. И, посещая чужие земли, как бы ни восхищались мы их рукотворной и нерукотворной красотой, какое бы изумление ни вызывала в нас их устроенность и памятность, душой мы постоянно на родине, всё мы соизмеряем только с нею и примеряем только к ней, всему ведем свой отсчет от нее. И тот, кто потерял это чувство земного притяжения, кто ведает одну лишь жизнь свою без неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего — вечного значит, огромную потерял тот радость и муку, счастье и боль глубинного своего существования.

...Есть города, которые насчитывают многие сотни и даже тысячу лет. Стоят они сановито и важно, изо всех сил сберегая с помощью лучших граждан своих старину и доблесть. И есть города из эпохи послевоенного

---

Распутин Валентин Григорьевич (род. 15 марта 1937 г. в с. Усть-Уда Иркутской области), прозаик. Член Союза писателей России. Герой Социалистического Труда (1987), дважды лауреат Государственной премии СССР (1977 и 1987), почетный гражданин г. Иркутска. Автор многих книг, в том числе: «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Что в слове, что за словом», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Сибирь, Сибирь» и др.

строительного бума, за спиной которых небольшие десятилетия; поставленные возле промышленных гигантов, по-юношески задиристые, самолюбивые, с бойким народом, они заявляют о себе нетерпеливо и звучат с напором. Иркутск по этим мерам в среднем возрасте: и трех с половиной веков не прошло, как в 1661 году енисейским сыном боярским Яковом Похабовым был срублен на Ангаре «против Иркут-реки на Верхоленской стороне государев новый острог». И как я представляю себе, немало пострадавший во второй половине XX века от скорых и неумелых пластических операций, от горячей бездумной силы по части сносов и перестроек, Иркутск, однако же, сумел сохранить свое лицо, не в пример другому сибирскому городу — Омску, который его полностью потерял, или Новосибирску, который его никогда не имел. Больше того — Иркутску повезло остаться даже с именем своим, как называли его первопоселенцы, и устоять против революционного синодика (его, правда, на Сибирь и не хватало, в Сибири самородные названия почти и не трогали).

И стоит теперь Иркутск, умудренный историей и жизнью, спокойно и мудро, зная силу себе и цену; в меру знаменитый, в меру скромный, в меру культурный, умудряющийся сохранять культуру и в наши дни; традиционно гостеприимный, немало опустившийся в пригляде за собой, но прекрасно сознающий, что верно, опустился и устал от реформаторских передраг последнего времени, — стоит Иркутск, наделенный долгой и взыскательной памятью камня своего и дерева, с любовью и немалым удивлением взирающий на дела нынешних своих граждан, которые составляют более чем 600-тысячное население, по-родительски оберегающий их от зноя и холода, дающий им жизнь, приют, воспитание, работу, родину и вечность.

В судьбе и характере Иркутска от самого начала особую роль играло его место рядом с Байкалом, всего в шестидесяти километрах от чуда-озера. Иркутяне пьют ангарскую воду, вытекающую из Байкала, дышат его ветродуем, едут к нему за вдохновением и здоровьем, напиваются его красотой и мощью, не оставляют своего поклонения ему, находят на его берегах и водах работу, рассказывают о нем легенды и были. А чаще всего они идут к нему просто так — чтобы показаться Байкалу и найти невидимую защиту, как дети, ощущающие родство. Слово «Байкал» имеет для них величавый отцовский смысл, могучий и добрый. Они радуются тому, что им доступен байкальский омуль — и не столько в качестве пищи, сколько в качестве какой-то духовной добавки (но и поморы Русского Севера испытывают наслаждение от одного лишь слова «семужка»), байкальская нерпа, это неуклюжее и симпатичное существо, вызывает у них неизменную улыбку. Иркутянам верится, что душа их от близости Байкала просторней, а кость тверже, что облекают их и пропитывают суровые и прекрасные картины байкальского лика.

Паломничество на Байкал со всего света, паломничество, то ослабевающее во дни российских неурядиц, то снова усиливающееся, идет через

Иркутск. Он невольно является предуготовителем главного события накануне встречи с Байкалом, роли которого должен соответствовать, и он же принимает остывающие впечатления, которые нельзя испортить. Красота и дух Байкала должны достойно перетечь в красоту и дух Иркутска. Благодаря Байкалу Иркутск в самые «закрытые» времена оставался открытым для иностранцев городом, сюда едут туристы и журналисты, деловые люди и знаменитости, научные экспедиции и молодежные делегации, он избирается местом проведения правительственных встреч. В мире Иркутск знают лучше любого другого сибирского города. Это заставило его следить за собой и прихорашиваться, и это же помогло ему на заре возвращения отечественной памяти в шестидесятые годы утвердить свое звание исторического города и тем самым, пусть и не без потерь, сохранить свой облик.

Есть особенный час, в который легко отзывается Иркутск на чувство к нему. Приходится этот час на пору летнего рассвета, когда еще не взошло солнце и не растопило, не смыло горячей волной настоявшиеся за ночь, взятые из недр своих запахи, пока не разнесли их торопливые прохожие, а редкую и недолгую тишину не погубил машинный гул. Лучше всего очутиться в такую пору в старом Иркутске, в одном из тех его уголков, где сохранились одной общиной деревянные дома. И стоит лишь вступить в их порядок, стоит сделать первые шаги по низкой и теплой теплом собственной жизни улице, как очень скоро теряешь ощущение времени и оказываешься в удивительном и сказочном мире, из той знаменитой сказки, когда волшебная сила на сто лет заговорила и усыпила, оставив в неприкосновенности, все вокруг. И уже не слышишь полусонного и размеренного женского голоса, объявляющего из-за Ангары о прибытии и отправлении поездов, не видишь возникающих перед глазами, как огромные неряшливые заплатки, новых каменных зданий, не замечаешь новейших примет — ты там, в этом мире столетней давности.

Летом 1879 года пробушевал здесь самый, пожалуй, жестокий из всех иркутских пожаров, уничтоживший большую часть города. «К утру 25 июня 75 кварталов лучшей и благоустроенной части города представляли собой выжженную пустыню с обгоревшими и задымленными остовами каменных домов, труб печей, над которой носился едкий, удушливый дым» (из летописи Н. С. Романова). Но если на центральных улицах разрешено было после того только каменное строительство, здесь на месте дерева снова легло в стены дерево. Иркутскому жителю было не привыкать — Иркутск горел многожды, и всякий раз снова и снова поднимался из пепла, снова и снова горожанин клал стены, чаще всего по своим собственным наметкам и чертежам, подводил крышу, стеклил окна. Въезжал в новый дом и принимался его украшать.

Нет, не просто построить, чтобы тепло и удобно было жить, но построить на удивленье и загляденье. Точно картинку, точно терем волшебный,

в котором, быть может, настанет и волшебное житье, — вот что считалось, как теперь говорят, престижным. Дух соперничества в новшествах и красоте никогда не оставлял сибиряка и подвигал его прежде на многие замечательные дела. В этом искусстве если и был кто равен сибиряку по всей огромной России, так разве лишь мужик с его прародины — с Архангельщины, Вологодчины, Великого Устюга и Новгородчины, откуда и вынесли первые насельники Сибири свое ремесло. Вынесли и развили до удивительного совершенства и бесконечно причудливой, навеянной новой жизнью и новыми просторами фантазии, привили везде и всюду — в городе и деревне, среди богатых и бедных, у охотников, пахарей и мастеровых. Только полностью нищий карманом или духом человек, поставив жилье, не украшал, не узорил, не расписывал его, не колдовал над ним, и уж одно это оставалось печатью его нищеты и безысходности на всю жизнь. Такая избушка, как теперь хорошо заметно, прежде и старилась, заваливалась, уткнувшись окошком в землю; горестно и неловко смотреть на нее, бедолагу, со стоящими рядом еще крепко, бодро и форсисто, разукрашенными резьбой домами. Созданные на радость людям, до сих пор, несмотря на полный свой век, они эту радость и приносят. Даже самый невеликий из них, с самой незатейливой отделкой, и ту уже немало потерявший, сохраняет все же привлекательность, достоинство и навеки оставшуюся в нем благородную душу мастера.

Душа мастера... Даже в самом примитивном ее понимании и рабочем приложении это то, что выходит из обыденности и общности ремесла, что воспаряет над ними особенной вышней любовью к человеку и всему прекрасному, живущему в нем и могущему в нем быть, что заполняет великие пустоты между реальностью и мечтой и делает реальность осмысленной добром и красотой. Душа не служит, она царит; она берет порою тяжелые подати, выводя человека из ряда обыкновенных, живущих хлебом единым и не желающих знать иных, но она же затем выводит его из ряда обыкновенных смертных, без вести погребенных под тяжелыми пластами времени.

И что как не душа мастера, колдовавшего над домом, возле которого ты в удивлении остановился, коснулась в гордости тебя и растревожила, укорила слабую твою душу, не знавшую праздничных взлетов, или нашла отзыв и восхищение в родственной и чуткой твоей душе, занывшей и затосковавшей по столь же славному делу?

Долгими неделями и месяцами выпиливал, вытачивал, вырезал, подгонял мастер свою кружевную затею. По трафаретам стали работать позже, когда ставили богатые доходные дома и трудились артелью, признанный же и уважающий себя художник по дереву творил, не ведая ограничительных рамок. Фантазия иной раз увлекала его в такие дебри и выси, что из них нет, казалось, выхода, чтобы не нарушить пропорции и чувство и не испортить начин, но он чудом находил его и из неведомых, порою

языческих далей доставлял желанную жар-птицу, которая волшебным опереньем вспыхивала на фронтонах, карнизах и наличниках дверей и окон, на кронштейнах и пилястрах — на каждой малости: смотрите, люди, и радуйтесь.

Четыре города в Сибири сумели сохранить тепло и красоту деревянных улиц. Это Тобольск, Томск, Кяхта и Иркутск. Один другого краше. Но, чтобы найти деревянное «счастье», нужно было пройти через несчастье, иначе смели бы в пылу обновления эту «рухлядь» подчистую и понаставили панельные коробки. Тобольск потерял свою столичность еще в первой половине XIX века, когда центр Западно-Сибирского края перенесли в Омск и сухопутный Московский тракт прошел южнее Тобольска. Оказавшись в стороне от него, Тобольск захирел. Кяхта, сказочно богатый торговый город на границе с Китаем, после революции вдруг оказалась на границе с другим государством — с Монголией — и скоро пришла в полный упадок. Томск сто лет назад отчаянно боролся за то, чтобы Транссиб сделал дугу в его сторону, — и не вышло. Он остался губернским городом, городом первого в Сибири университета, еще яростнее принялся называть себя «сибирскими Афинами», но его уже слушали плохо, и в значении своем и росте он поневоле поотстал.

К началу XX века потерял свою громкую торговую славу и Иркутск: меняющие один другой потоки пушнины, золота, китайского чая и мануфактуры к тому времени обмелели. Более полувека, до начала «сибирского ускорения» в пятидесятых годах, жил он скромно и тихо. Затем строительство Иркутской гидростанции, строительство под боком новых городов — Ангарска и Шелехова — заставило опять звучать Иркутск громко. В горячке буден было не до старины. А когда принялись подбираться к ней, чтобы обновить Иркутск, когда стали вычерчиваться «перспективные планы развития» (читай: переустройства города и сноса деревянных кварталов), появилось Всероссийское общество охраны памятников и Иркутск, по счастью, вошел в число пятнадцати исторических городов, подлежащих охране. Кроме иностранцев, едущих на Байкал, в этой удаче сыграл свою роль и интерес к декабристам, отбывавшим ссылку в Иркутске. И, должно быть, не в последнюю очередь — оставшаяся память о просьбе Эйзенхауэра включить Иркутск в маршрут его намечавшейся в конце пятидесятых годов поездки в СССР. В Иркутске по судьбе офицера союзнической миссии в нашу Гражданскую войну будущий американский президент лечился в госпитале, и об Иркутске остались у него самые приятные воспоминания. Визит высокого гостя, как известно, не состоялся, но то, что сопровождало его подготовку, чтобы не ударить в грязь лицом, — и торопливое латание городских улиц, и асфальтированный тракт к Байкалу, и специальная «дача» на берегу озера в истоке Ангары, с которой начинался санаторий, и напоминание об Иркутске как городе нерядовом, способном

задержаться в памяти великих, — это осталось и сослужило добрую службу «для внутреннего пользования».

Так с середины шестидесятых годов сделался Иркутск историческим городом, и в таких обстоятельствах взял он на себя обязательство соответствовать этому званию. Однако соответствовать оказалось труднее, чем назваться. Двадцать лет продолжалась затяжная эпопея — кто кого? Одни охраняли, другие воровали, как в каком-нибудь дырявом складе. У иркутян на памяти еще борьба за «горбатый дом» в центре города, образец постройки XVIII века, борьба, окончившаяся не в пользу общественности: среди ночи дом воровски снесли. Такая же участь постигла и многие другие памятники. Восстановленные усадьбы декабристов Трубецкого и Волконского, ставшие музеем, равно как и «кружевной дом» на ул. Энгельса, отданный почему-то под офисный «Дом Европы», равно как и еще несколько примеров выхваченности из огня и погрома, — это лишь малая часть из того, что могло быть спасено.

Вот почему, за исключением единичных усадеб, деревянной архитектуры XVIII столетия в Иркутске не сохранилось.

Дерево недолговечно, но оно имеет редкую способность продлевать нашу память до таких глубин и событий, свидетелями которых мы не могли быть. Лучше сказать: это способность передавать нам память предков. Камень более недвижим и холоден; дерево податливо и ответно чувству. В деревянных кварталах где-нибудь посреди Солдатских улиц перед нагорной частью города не так уж и трудно представить себе старый Иркутск тридцатых-сороковых годов того далекого XVIII века, когда город разросся и вышел из стен острога.

Через Иркутск шла оживленная торговля с Китаем, он стал к тому времени крупным административным центром огромной провинции, главным перевалочным и товарораспределительным пунктом всей Восточной и Северной Сибири. В остроге, замкнутом крепостными стенами, творилась лишь административная власть, вся же основная жизнь давно перешла в посад, где располагались и купеческие лавки, и базары, и кабаки, пышным цветом расцветшие к той поре в Иркутске, и различные службы, и мастерские ремесленников и где «гуляло» около тысячи (в тридцатых годах) обывательских домишек, которые ставились без всякого плана застройки, кто где хотел и кто во что был горазд, так что улицы представляли собой извилистое и диковинное кружение, и вправду напоминающее гуляние. Город, вышедший из крепости, в свою очередь, обнесен был палисадом, деревянной стеной, протянутой от Ангары до Ушаковки по линии Большой улицы. За палисадом, как и положено в древности, рядом с вырытым рвом стояли рогатки, а уж за ними третьим городским поясом выросла Солдатская слобода. Отсюда и Солдатские улицы, переименованные впоследствии, чтобы не оставить бывших охранников города без революционного внимания, в Красноармейские.

Другие стояли здесь тогда домишки, другая была планировка — все другое, но и глаз закрывать не надо, чтобы представить себе Иркутск того времени в такой яви и близости, что видишь, кажется, изломанную и кривую грязную улочку, величавую поступь по ней бородатого купца, направляющегося в сторону царствующих над городом куполов Спасской церкви и Богоявленского собора и по дороге недовольно буркнувшего на возящихся в грязи ребяташек, слышишь голоса лениво переругивающихся из-за высоких заборов от скуки баб, ржание лошадей и скрип телег проходящего через Заморские ворота к Байкалу обоза. Добрых тридцать лет еще до Московской столбовой дороги, вдохнувшей в Иркутск новую жизнь, и больше века до третьего и главного кита, который вслед за торговлей и пушниной стал основанием расцвета города, — до золотой лихорадки. Иркутск еще сонен, темен и грязен, его главную жизнь составляет борьба духовенства и купечества с чиновничеством, с его разбойничьими даже по тем временам поборами и несправедливостью. Да ведь и то сказать: окраина, самая глухая, откуда «до Бога высоко, до царя далеко». По этой поговорке действовали и воеводы, и вице-губернаторы, а затем и генерал-губернаторы вместе со всем своим многочисленным окружением, которые, кроме своего собственного обогащения, не знали здесь другой работы. Не зря же первый сибирский губернатор князь Гагарин был казнен в Петербурге «за неслыханное воровство», почти одновременно с ним взошел на плаху при Петре по той же самой причине иркутский воевода Ракитин, не брезговавший разбоем, чуть позднее такая же участь постигла и первого иркутского вице-губернатора Жолобова, который «пытал безвинно и при пытках жег огнем». Строгости, однако, помогали мало.

Инструкцией, которая давалась в первое время воеводам и которая гласила: «Делать по тамошнему делу и по своему высмотру, как пригоже и как Бог вразумит», пользовались затем все, за малым исключением, власти, как бы они ни назывались. Одному, вице-губернатору Плещееву, «пригоже» было приказать всякий раз при своем выезде палить из пушек, чтобы досадить архиерею, которому звонили; другого, губернатора Немцова, «Бог вразумил» пригласить за город гостей и натравить на них разбойника Гондюхина, не постеснявшегося донага раздеть благородное общество, к величайшей потехе губернатора; третий, следователь Крылов, приехавший в Иркутск пресекать беззакония, «по своему высмотру» обобрал местных купцов более чем на 150 тысяч рублей, посадил под арест чем-то не приглянувшегося ему самого вице-губернатора Вульфа и разъезжал по городу, наводя жуткий страх на жителей и опять-таки «по своему же высмотру» указывая на понравившихся ему купеческих дочек и мещанок, которых следовало незамедлительно доставлять Крылову на дом. Это были «гибельные», по слову летописца, времена. Неудивительно, что иркутяне, вспоминая о благополучном, казавшемся им счастливым, правлении в конце XVII

века малолетнего сына Полтева (Полтев назначен был воеводой, но, не доехав до Иркутска, скончался, и тогда казаки определили в воеводы его сына), попытались сорок лет спустя, устав от поборов и самодурства Жолобова, снова применить ту же практику. На этот раз Сытин, приехавший заменить ненавистного им вице-губернатора, умер «от огорчений», причиненных ему Жолобовым. Сыну Сытина было пять лет; в этом возрасте даже в роли правителя нельзя еще творить беззакония, хотя невозможно с ними и бороться, но для города и то казалось великим благом. Дело, однако, сорвалось, и оставшийся до поры до времени на своем месте Жолобов с новой силой принялся за расправу, ежедневно ставя «на правеж» (кнуты, палки, пытки) тех, кто замыслил его замену.

«Все, что о здешних делах говорили в Петербурге, не только есть истина, но — и это бывает редко — истина неувеличенная», — доносил позднее в столицу приехавший в Иркутск с огромными полномочиями граф М. М. Сперанский.

Иркутская история знает и трагические, и смешные, забавные случаи, которые заманчиво и полезно листать как в летописях, так и в памяти, бродя по старым деревянным улицам, легко воскрешающим пытливому взору былую суровую жизнь.

Выправлением вольной городской планировки, кстати вспомнить, ретиво занялся в начале XIX века при генерал-губернаторе Пестеле, который умудрялся править нашим обширным краем из Петербурга, его наместник вице-губернатор Трескин. Этот прославился отчаянной борьбой с богатым иркутским купечеством. Трескин, не боясь жалоб, которые перехватывал в столице Пестель, мало в чем ведал сомнения, а в деле выпрямления улиц в особенности. По его указанию набрана была из арестантов местной тюрьмы бригада во главе с Гущей, оставшаяся в летописях нашего города под названием «гущинской команды». Вот как свидетельствует об этом в «Записках иркутского жителя» писатель И. Т. Калашников: «Спору нет, что благоприличие — вещь хорошая, но только уж слишком нецеремонно поступали с домами, стоящими не по плану. Согласие домовладельцев тут было дело излишнее. Бывало, явится гущинская команда — и дом поминай как звали. Если же не весь дом стоял не по плану, а только какая-нибудь особенно смелая часть его вылезала вперед, то без церемонии отпилят от него сколько нужно по линии улицы. А там и поправляй его как умеешь».

Поднаторев на уличном переустройстве и войдя во вкус, Трескин взялся затем выправлять и устье Иркутта, заявив, что река имеет «неправильное течение», но Иркут, в отличие от Иркутска, не поддавался Трескину и, несмотря на все усилия губернатора, остался при собственном течении.

Что и говорить, правители случались разные; как никакому другому городу в Сибири и закрепленному за ним краю пришлось настрадаться

Иркутску от власти всевозможных временщиков, от их лихоимства и самоуправства.

А наше время! Давно ли, в девяностых годах не XVIII, а XX столетия, при губернаторе Ножикове «братская команда» (из города Братска) довела край до полной нищеты и разора, и ни один волосок не упал ни с одной из лихих головушек. Не было уже на них ни Петра, ни Сталина.

\*\*\*

Первое городское каменное строение, к сожалению, не дожило до наших дней. Это была поставленная в 1704 году на территории острога по берегу Ангары воеводская канцелярия, или приказная изба, где творилась власть. В XIX веке, когда стали укреплять берег, чтобы сохранить место колыбели Иркутска, канцелярию пришлось снести. Зато на диво и на счастье, самым загадочным и чудесным образом выстояв жестокие времена ломки и сносов, сохранились Спасская церковь и Богоявленский собор — самые древние и наиболее интересные по архитектуре храмы во всей Восточной Сибири.

Потому, впрочем, и интересные, что древние. Потому и дороги они так сердцу иркутян, что вещей и нетленной, доступной каждому памятью доносят до нас время, дух и искусство наших предков, которые имеют в этих стенах живое выражение и которые вернее всяких философий говорят об устремленности и вере человека в свою вечность. До тех пор жив человек, покуда держится дело рук и духа его. Нелишне бы это помнить тем, кто, собираясь накоротке отбыть свою земную долю, неразумно оставляет после себя тем не менее из весьма прочного материала, из камня и слова, памятники своей скудости, неразборчивости и общинной суетности — время, как известно, из неумения лжесвидетельствовать может быть не только благодарной, но мстительной памятью.

Спасская церковь дорога нам изначально прежде всего тем, что это единственное оставшееся от Иркутского острога строение, поставленное всего пятьдесят лет спустя после рождения Иркутска. По ней мы определяем теперь границы острога (она была встроена в крепостную стену, обращенную к Тихвинской площади), можем представить себе соборную площадь (на месте Вечного огня), где оглашались царские и воеводские указы, творились расправы, собирались горожане как на праздники, так и во дни великих и трагических российских событий. Церковь была заложена в 1706 году и через четыре года закончена. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть в ней допетровскую еще, древнерусскую архитектуру. В новом, во многом заемном архитектурном стиле возводится в это время Петербург; сменила свой градостроительный почерк Москва, но Иркутск далеко, Иркутск свои первые каменные творения ставит еще по старинке, в родном, так чудно воспарившем после татар национальном духе. Однако

в заложенном всего через восемь лет после Спасской церкви Богоявленском соборе есть уже изменения в пользу новых веяний и хорошо заметны черты раннего барокко в декоре фасадов, которые, в отличие от Спасской церкви, расписаны пышно и полностью. Изменения видны, но весь храм как ансамбль, как единое целое представляет собою причудливое сочетание старого и нового стилей, когда мастер-уставщик, можно предположить, и зная прекрасно, как принято строить, с удовольствием сбивался на то, как любо было ему строить и что больше отвечало его вкусу. Богоявленский собор, опять-таки в отличие от Спасской церкви, ставился сразу с колокольной и приделом, и шатровое навершие над колокольной — элемент, конечно, древнерусского, деревянного еще зодчества, который в каменных постройках, особенно за Уралом, встречается очень редко. И уж совсем в дальние дали уходят своими корнями и фантазией фигурки на неожиданных, счастливо обнаруженных при реставрации собора керамических вставках, «изразцах», которыми был украшен храм, — все эти круги, лепестки, ведомые и неведомые нам звери и птицы, застывшие на стенах, из старинных легенд и сказок.

Вообще же, говоря о смене архитектурных стилей, нужно иметь в виду, что в наших краях из-за отдаленности своей и влияния местных мотивов это в особенности не имело определенных границ и твердых законов, и взаимопроникновение, взаимосвязь и взаимосогласие разных направлений будут наблюдаться еще долго и в деревянном, и в каменном зодчестве. Возведенная значительно позднее Богоявленского собора Знаменская церковь (1762) также совмещает в себе элементы барокко и древнерусского декора. Крестовоздвиженскую церковь по дивному своему, совершенно исключительному «узорочью» и причудливому использованию экзотики восточного орнамента, взятого, очевидно, от буддийских храмов, можно отнести к сибирскому барокко. Законы принятого в центрах градостроительства, добравшись за тысячи верст до Иркутска и подышав местным воздухом, сплошь и рядом соскальзывали со своих уставных колодок на грешную сибирскую землю — поэтому зданий, построенных в чистом том или ином стиле, здесь очень немного.

«Древность Иркутска достопочтенна, — писал побывавший в нашем городе в 1824 году Алексей Мартос, один из образованнейших людей своего времени, сын скульптора, поставившего на Красной площади в Москве памятник Минину и Пожарскому. — Ее можно уподобить той эпохе человеческой жизни, которая, упрочив счастье потомков, может требовать уважение и внимание чад своих».

Удивительно верно и надолго умели высказываться люди прошлого, даже и путешествующие, но смотревшие на лик преображаемой земли и на дела рук человеческих не с точки зрения утилитарной и сиюминутной, а с позиций думающей о своем благоденствии нации.

И, перечисляя поразившие его в Иркутске памятники старины, Мартос в первую очередь называет Богоявленский собор и Спасскую церковь.

Со времени постройки эти первые наши храмы претерпели немалые изменения, вполне естественные в их долгой и трудной судьбе, но не всегда, однако, удачные. Во второй половине XVIII века к Спасской церкви пристраивают колокольню (1762) и придел (1778) и расписывают фасады, но если собственно церковь как должное и необходимое и лишь запоздавшее приняла в свой ансамбль колокольню, то двухэтажный каменный придел с северной стороны утяжелил ее и присадил на один край, нарушив тем самым симметрию и исказив легкий, как бы висящий, парящий над Ангарой вид благословляющего и взыскующего храма.

Особенно не повезло Богоявленскому собору. Знаменитое шатровое навершие над колокольной продержалось лишь до 1742 года, когда в Иркутске случилось землетрясение, после которого упавший шатер уже не подняли. В 1862 году новое землетрясение, и снова вместо того чтобы восстановить здание в его первоначальном виде, пострадавшую трапезную разобрали до основания, возведя примитивные, не имеющие ничего общего с архитектурой здания стены, а заодно, не посчитавшись с их древностью, замуровали и изразцы. Наступили другие времена, предвестники еще более смутных, другое восходило и отношение к старине, оставившее за спиной чуткость и благоговейное внимание к ней, до того всегда присутствовавшие в русском народе.

Вставши первыми на берегу Ангары, первыми они были и восстановлены после десятилетий долгого запустения и революционного погрома религии. Странно, до чего же быстро существовавшее и принятое как альфа и омега превращается во что-то фантастическое и необъяснимое! Вот эти красавцы, эти главные святыни Иркутска, и чуть ли не на свалку?! Этого быть не может! Как же мы с этим мирились?! Да, но в отличие от большинства живущих одним днем, обративших свою память только в себя, в записную книжку для личного и суетного пользования, все-таки не мирились. Повторюсь, что схватки во все семидесятые и восьмидесятые годы за каждый приговоренный к сносу дом, против каждого чуждого и уродливого нововедения, которыми все же «запятнан» Иркутск, бывали жестокими. Боевая тревога с обеих сторон — ревнителей и рушителей старины — объявлялась чуть ли не ежемесячно. И когда сквозь историческую часть города пытались проломить транспортную магистраль, и когда Троицкую церковь приговорили быть посаженной на дно колодца из высотных зданий, и в бессчетных случаях, когда приступом шли на деревянные памятники. Рецидив пренебрежительного отношения к прошлому держался долго и вызывался практикой варяжества. Действовал неписанный закон: секретарь обкома из чужаков, председатель облисполкома оттуда же, главный архитектор города — трижды из чужаков. Чтобы не стеснять себя в действиях воспоминаниями

и родством, чтобы, не дай Бог, не выпятилась в преобразовательских трудах жалость. Как память о вице-губернаторе Трескине прошла через века, так не забудут иркутяне невесту откуда явившегося на должность главного архитектора города В. Павлова, столь же ретивого перестройщика, для которого Иркутск тоже «стоял не по плану», и он «без церемонии отпиливал от него сколько нужно» и «поправлял как умел».

Но и добрая память не стирается долго. Стоишь сегодня на берегу Ангары, там, откуда есть-пошел Иркутск, озаряешься золотым сиянием куполов Спасской церкви и Богоявленского собора, слышишь звон соборных колоколов, сзывающих к молитве, и невольно вспоминается Галина Геннадьевна Оранская, главный автор проекта реставрации этих святынь (а затем и дома Трубечкого, а затем и проекта музея деревянного зодчества), маленькая, живая, решительная старушка, умевшая брать любые чиновничьи крепости. Впервые приехала она в Иркутск по командировке Министерства культуры в 1959 году — требовалось осмотреть и подготовить иркутские памятники к тому самому визиту Эйзенхауэра, о котором упоминалось. Но что же тут за считанные месяцы можно было подготовить, если печать разрушения от времени и небрежения видна была всюду?! Только через десять лет, незадолго до смерти, попрощалась Галина Геннадьевна с Иркутском, для которого во все эти годы она оставалась неутомимым вестником: время собирать камни. Ни на одном из камней не осталось ее имени, уйдем скоро и мы, помнящие ее, унесем с собой свою благодарность к ней — и что же, разве чувство конечной справедливости всего сущего вместе с чувством долгими скитаниями добытой усыновленности будет полным, если оно останется безымянным?!

...На строительство первые каменных зданий, особенно церковных, тогда, в XVIII веке, поначалу приглашались артели со стороны — с Урала и даже из России (Россией, «Расеей» до самого последнего времени сибиряки называли зауральскую к западу сторону). Но это продолжалось недолго. Уже к середине века Иркутск на добрую треть стал городом ремесленников, работающих по дереву, по камню и драгоценным металлам. Слава о его мастерах к концу века разошлась по всей Сибири, теперь уже другие города шли на поклон к иркутским каменщикам, живописцам при оформлении храмов и литейщикам, которые выплавляли высокого звучания и высоких художественных качеств колокола. Летопись сохранила имя Алексея Унжанова, отлившего 24 сентября 1797 года знаменитый в памяти старых иркутян «Большой колокол в 761 пуд», который на специально сделанных из толстых брусьев санях при колокольном звоне всех церквей тянул на веревках к собору едва не весь город.

Менее чем через сто лет на центральной Тихвинской площади поднялся новый кафедральный собор, построенный по типу храма Христа Спасителя в Москве. Теперь им можно любоваться только на старых открытках:

собор постигла та же участь и в то же время, что и храм Христа Спасителя. Может быть, если уж повторять «тип» облика и судьбы окончательно, встанет когда-нибудь из небытия и иркутский собор, заставив еще раз поверить нас в истину, что как рукописи не горят, так и храмы не рассыпаются по злой воле, и что высшая справедливость неотменима.

Но сейчас воспоминание о соборе понадобилось вот зачем: когда по завершении строительства дошла очередь до его росписи, перед преосвященным явилась немалая трудность: кого из талантливых мастеров выбрать, чтобы не обидеть других, не менее достойных. Прошло еще сто лет, нового собора не стало, в Богоявленском после долгого перерыва зазвучало слово Божье — и опять в торжестве второй его жизни дошло дело до росписи, и опять не без труда из лучших пришлось выбирать наилучших. Будто и не было века безбожия, когда кисти не прикасались к священным образам. Будто только и ждали эти молодые и талантливые иконописцы, чтобы в назначенный срок явиться молодыми и талантливыми, какими и должно быть при исполнении художественного подвига, и срастить ткань своего письма с оборванным творением прежних мастеров.

Кстати, и в самые богоотказные времена в Иркутске продолжали службу три храма. Обычно в губернских городах подобного масштаба позволялось обходиться одним. Иркутск по духовному своему «масштабу» требовал большего, и с этим приходилось соглашаться.

\*\*\*

Иркутск издавна сложился купеческим городом, через него шла оживленная торговля с Китаем, с Севера поступали потоки пушнины, золота и мамонтовой кости. Иркутский купец и промышленник, как правило, был деятелем широкого масштаба, его интересы простирались и в Кяхту, и в Томск, и в Петербург. Но выгодное положение Иркутска на пересечении торговых и транспортных путей, близость его к местам добычи и отправки товара заставляли купца быть в сердцевине «дела» и оставаться иркутянином. В последнее время отношение к купечеству сделалось справедливей, на него не смотрят больше как на закосневшее в одной пагубной страсти сословие, но и осведомленность наша о его роли в культурном строительстве родного края и в благотворительности оставляет желать лучшего. Мы по-прежнему, как при Пушкине, «ленивы и нелюбопытны». Вслед за старшими поколениями иркутян мы повторяем: «Кузнецовская больница», «Медведниковский приют», «дом Сибирякова» — и не слышим, не осознаем, что лечебница, построенная на средства Кузнецова, верой и правдой служит нам до сих пор, оставаясь до последнего времени областной больницей; что Медведниковский приют многие десятки лет занимает сельхозинститут, а Сибиряковский дом — это Белый дом, одно из самых виднейших и знатнейших зданий в городе, бывшая резиденция генерал-губернатора,

теперь университетская библиотека. Повезло только Сукачеву: художественный музей, которому он положил начало, наконец-то принял его имя в свое название. Как человеку негоже забывать свою родословную, так и городу не к лицу терять благодарность к своим знаменитым гражданам.

Нельзя требовать от господ Второвых и Басниных, чтобы они были Потаниными и Ядринцевыми (А. М. Сибиряков был, кстати, и писателем, и знаменитым ученым, исследователем Арктики; теплоход «Александр Сибиряков», носивший его имя, прокладывал Северный морской путь и служил до 1942 года, пока не погиб в неравном бою с немецким тяжелым крейсером), а то, что они помогали Потаниным и Ядринцевым в литературных и научных трудах, заслуживает и от нас непредвзятой памяти. Сибирское купечество вообще достойно серьезного исследования, в котором должно бы отдать ему справедливость как в делах собственного обогащения, так и в делах, служивших пользе своей далекой и огромной, забытой Богом окраины. И в Сибири сплошь и рядом встречались персонажи из пьес Островского; и здесь сказочные богатства невозможны были без грубой и нечистой практики своего ремесла — идеализировать и выделять, подыскивать для сибирского купца особый пьедестал никто не собирается. «Господствуя и в думе, и в магистрате, богатое и сильное иркутское купечество в конце XVIII и в начале XIX столетия заправляло всеми общественными и городскими делами, и заправляло исключительно в своих интересах, — пишет в очерке «Иркутск» долголетний его голова В. П. Сукачев, который и сам принадлежал к этому сословию. — Дело дошло до того, — возмущается он, — что право торговать мясом в Иркутске в 1810 году предоставлено было только трем купцам: Ланину, Попову и Кузнецову».

Но как сибиряк по психологии своей отличался от жителя коренной России, так и сибирский купец разнился от тамошнего — в силу хотя бы местных условий. Иркутские купцы Шелихов, которого Державин назвал «Колумбом русским», и Баранов были в конце XVIII века основателями Русской Америки, осуществлявшей над Аляской и Алеутскими островами не только торговое, но и административное господство. Управление Российско-Американской компании от начала и до конца находилось в Иркутске. Экспедиции иркутского генерал-губернатора графа Муравьева в пятидесятых годах XIX века, результатом которых стало присоединение к России Амура, финансировались в основном местными золотопромышленниками. Многочисленные в прошлом научные экспедиции на Крайний Север и Восток, в Монголию, Китай и Японию также не обходились без помощи иркутских богачей — отсюда, из Иркутска, где с 1851 года деятельно работал Сибирский (затем Восточно-Сибирский) отдел Географического общества, в сущности, направлялось все исследование обширных и малоизученных восточных областей.

Большинство — и это не преувеличение, именно большинство — существовавших в прежнее время в Иркутске церквей, больниц, приютов,

ремесленных и общеобразовательных училищ, в том числе для сирот-иностранцев, арестантских детей и переселенцев, гимназий и библиотек построено было и содержалось на частные пожертвования. «Если все эти учреждения и капиталы сопоставить с числом жителей в Иркутске, придется признать, что в отношении благотворительных средств Иркутск стоит среди русских городов чуть ли не на первом месте», — писал Сукачев, имея в виду восьмидесятые-девяностые годы XIX века. Если в Петербурге в то время один учащийся в начальных классах приходился на 80 жителей, в Москве — на 75, то в Иркутске — только на 29 жителей. Разница большая.

Можно припомнить еще, что иркутские купцы, находясь в постоянной вражде к чиновному аппарату, знали и с декабристами, и со ссыльными поляками, открыто водили с ними дружбу и отдавали им своих детей в обучение, почитая это честью не для опальных, а для себя. Многие из тех, кого мы называем толстосумами, были людьми широко и разносторонне образованными, они выписывали из Москвы и Петербурга лучшие журналы и книги не только для себя, но и для устройства публичных библиотек. Сибиряковы из поколения в поколение вели летопись Иркутска; В. Н. Баснин знаменит был в городе, кроме богатства своего, собраниями книг, гравюр, музыкальными вечерами, на которые приглашались столичные артисты, и оранжереей диковинных цветов и плодов; в картинную галерею В. П. Сукачева, ставшую позднее основанием художественного музея, вход для школьников был бесплатным, а сборы со взрослых шли в пользу городских общедоступных курсов. Можно бы назвать все это блажью с жиру бесящихся и выставляющихся друг перед другом богачей, когда бы не было от нее столько пользы и когда бы не создавала она той особой и незаштатной обстановки, которая и выделяла Иркутск из всех сибирских городов. По культурности своей Иркутск мог соперничать только с Томском, в Томске на тридцать лет раньше открыт был университет, и из ученых, а не из политссыльных, образовалось местное патриотическое общество. Однако А. П. Чехов отзывался о Томске как о «скучнейшем городе», а об Иркутске: «Иркутск — превосходный город. Совсем интеллигентный». Делая поправку на то, что нелестные слова Чехова о Томске могли быть следствием погоды или усталости, мы склонны считать, что в словах об Иркутске они, погода и настроение, конечно, не участвовали. А если б даже и участвовали — навеяны были, значит, опять-таки иркутской обстановкой.

Средние и слабые театральные труппы не решались ехать на гастроли в Иркутск, боясь местного зрителя; вольнодумность горожан поражала и пугала высоких инспектирующих чиновников и удивляла проезжих знаменитостей, оставивших об этом многочисленные свидетельства. Подобная смелость в немалой степени возбуждалась политической ссылкой, для которой наш край был почему-то предпочтен более других сибирских окраин. Возможно, по отдаленности нашей, возможно потому, что, переусердствовав

раз, в дальнейшем, махнув рукой, туда же и продолжали направлять свое усердие. Ссылные работали в училищах, школах, научных и технических обществах, в канцелярии генерал-губернатора и в газетах, имея тем самым возможность влиять на общественные вкусы и общественное мнение. В свое время декабрист Завалишин объявил настоящую войну Муравьеву-Амурскому, обличая того в творимых на Амуре и в Забайкалье несправедливостях, так что прославленному генерал-губернатору пришлось переправлять декабриста из одной ссылки в другую, из Забайкалья в Казань. В первых печатных изданиях — в газетах «Иркутские ведомости» и «Амур» заправляли знаменитый Петрашевский и его единомышленники Львов, Загоскин и Шашков. Политический ссылный И. И. Попов долгие годы редактировал выходившие в Иркутске газету «Восточное обозрение» и журнал «Сибирский сборник», которые основал и до того выпускал в Петербурге Н. М. Ядринцев. В своей книге «Минувшее и пережитое» Попов вспоминает: «Я уже говорил, что генерал-губернатор А. Д. Горемыкин пенял Грому, что у него работают только государственные преступники, а Громов (из известных сибирских купцов. — В. Р.) ответил, что ему нет дела до убеждений «политиков»: ссылные великолепные работники и честные люди, с которыми он не может расстаться, потому что пострадает дело. А дело было огромное: на всю Россию и за границу поставка мехов и торговля в Якутской области. Контора Громовых, как и редакция «Восточного обозрения» или Иркутский музей Географического общества, были своего рода явочной квартирой, где можно было навести всевозможные справки о «политиках».

Где бы что ни происходило — дворцовые перевороты или подлетронные подсиживания, реформаторские перетряски, студенческие волнения или революционные бури, — аюкалось в Иркутске, в который или через который гнали потерпевших. Воистину это была подневольная Мекка. Кого только не видывал на своем веку Иркутск — и несчастных стрельцов в начале царствования Петра, и его любимца Ганнибала, гонимого другим любимцем — Меншиковым, который вскоре и сам последовал в Сибирь, и малолетнюю дочь казненного при Анне Иоанновне Волынского, по имени тоже Анна, втайне содержавшуюся в Знаменском монастыре, и многочисленных авантюристов разного толка, испытывавших прочность власти и казны. Иркутск не миновали в своей громкой судьбе ни знаменитый Бакунин, пришедшийся, кстати, родственником Муравьеву-Амурскому, ни Радищев, ни Чернышевский, освобождать которого из вилюйской ссылки в Иркутск наведывались Герман Лопатин, один из переводчиков на русский язык «Капитала», и народник И. Н. Мышкин, ни петрашевцы во главе с самим руководителем этого тайного общества, ни революционные демократы. Влияние декабристов и ссылных поляков было столь сильным, что казалось, будто не они, считавшиеся преступниками, а местное общество отдано было им на исправление и воспитание, вплоть до того, что

декабристы преподавали в доме самого генерал-губернатора. Черский, Чекановский и Дыбовский из ссыльных поляков придали, как прежде выражались, блеск научной деятельности Географического общества, их имена навсегда остались на карте Байкала и Присяянья, изучению которых они отдали немало лет.

С. В. Максимов, автор знаменитого исследования «Сибирь и каторга», отмечал по этому поводу: «При помощи и участии чужих людей среди сибиряков, именно прежде всего здесь, в Иркутске, народилась, стала возрастать и крепнуть та могущественная сила, которая называется общественным мнением, до той поры не существовавшим и не имевшим места в Сибири, как в стране изумительного произвола ее начальников».

Что было в близком кругу и среди родных бунтарских душ, в приятном городе, уже и перевоспитанном на свой лад, не «тянуть срок» — когда украинского поэта-революционера П. Грабовского по какой-то причине переправили из иркутского заточения в Тобольск, он вздыхал по Иркутску в 1899 году: «Прожил лето, как в раю, среди интеллигентных интересов и благосклонных людей. Ах, как хотелось бы мне еще раз побывать в Иркутске, там я совершенно ожил душой... да вот беда — не пускают туда». Советская ссылка, в отличие от царской, подобных условий для «государственных преступников» не устраивала. Бывали-живали у нас по старым приговорам и Фрунзе, и Свердлов, и Киров, и Троцкий, и Сталин, и не могли не наблюдать они, будучи и сами в ней, «среди интеллигентных интересов», которая постоянно и далеко выплескивалась за свои края. И сделали, надо полагать, определенные выводы.

Как связь, как вытекающее одно из другого — 7 февраля 1920 года в Иркутске был расстрелян адмирал Колчак, сданный «союзниками»-белочехами революционному политцентру.

\*\*\*

На перевалах истории жизнь играет крутой волной, все необычное, из ряда вон выходящее превращается в обычное, по продолжительности своей даже и косное, а уж для новой высоты, способной прогреметь громом ужаса, требуется и вовсе что-нибудь немислимое.

И оно находится.

В январе 1921 года в Вознесенском монастыре на западной окраине Иркутска была вскрыта рака с мощами святителя Иннокентия, нетленное тело вынута из кипарисового гроба, освидетельствовано комиссией губревкома как «мумия» и вскоре выслано в неизвестном направлении. Огромные художественные и исторические ценности, окружавшие посмертное пребывание святителя в монастыре, были «реквизированы» для «революционных нужд». Опись «реквизированного» заняла несколько листов: серебряная рака весом в пять пудов, серебряный подсвечник весом в восемь

пудов (дар купца К. Ф. Трапезникова), покрывало из золотой парчи (дар императора Александра I), древние иконы, украшенные драгоценными камнями, старинное Евангелие, также украшенное драгоценностями, весом около двух пудов и многое-многое другое, канувшее бесследно.

Ровно за двести лет до этого события епископ Иннокентий Кульчицкий, будущий святитель, возглавил направленную Петром в далекий Китай посольскую миссию. Но китайские власти, заставив посольство томиться неподалеку от своих границ в Селенгинском монастыре, так и не дали ему разрешение на въезд. Образованнейший по тому времени человек, неутомимый наставник душ, епископ Иннокентий принял созданную в 1727 году Иркутскую епархию. Служение его на этой кафедре продолжалось недолго, всего около пяти лет, в 1731-м владыка скончался, успев благодатными своими делами оставить по себе прочную память. Похоронен был там же, где и трудствовал, — в Вознесенском монастыре. Но спустя и двадцать, и тридцать, и сорок лет тело его в подземелье оставалось нетленным и вызвало паломничество, сначала из близкого монастырю народа, затем все люднее и люднее. Появились чудеса исцеления. В 1804 году первый иркутский епископ был канонизирован, тело его подняли из пещеры, облекли в святительские торжественные одежды. И — потекли к нему верующие со всего восточного края, имя его сделалось самым любимым и распространенным как среди русских, так и среди крещеных инородцев. Иркутск обрел своего небесного заступника.

Пять лет ожидал епископ Иннокентий в земной своей жизни решения китайских властей, будет или не будет принято его посольство в Восточной империи, пока не вернулся в Иркутск и обрел здесь в высокопастырском служении родину. И семьдесят лет заточения и надругательства претерпел святой, чтобы вновь воротиться в Иркутск в вечной своей жизни. Мощи его отыскиались в Ярославле и в 1990 году были доставлены домой, найдя в этот раз обитель в Знаменском монастыре.

Не чудо ли?

И чудо, промыслительно поспевшее к новому перевалу истории, с которого в изобилии посыпались невзгоды и испытания, но и с которого одновременно открылись святыни, чтобы мог припадать к ним народ, не истощаясь в надежде.

В последнее десятилетие Иркутск совсем не прирастал жилыми кварталами, зато оброс, как и всюду, торговыми рядами, захватившими заводские цеха и детские площадки. Машинная толчея на тесных улицах старого города достигла предела, мостовые зазияли дырами — богатство и бедность, тоже как и всюду в России, грубо разойдясь на попирающее и попираемое, явили свои откровенные черты. По зимам снег стал белей — заводские трубы дымили редко, по красным летам улицы заполнялись живописным шествием иркутян, следующих к грядкам и от грядок за городом.

Двери и окна укрывались в железо, похоронные катафалки сделались неотличимы от маршрутных такси. Падали самолеты, гремели выстрелы, горела деревянная старина, которую под общий беспорядок торопились спалить, чтобы освободить место для офисных и частных построек совсем другого типа. Бедные домишки ушли в землю еще глубже, а на окраинах, бросая вызов именитому стариной Иркутску, появились улицы и поселки новых купцов-коммерсантов из каменных особняков какой-то одинаково тяжелой и пузатой обезличенной архитектуры. Но вызов этот двинулся и в центр в виде стилизованных под европейское средневековье, с башенками, ярусами и шпилями, частных построек, которые, возможно, и смотрелись бы где-то в ином месте, но в Иркутске кажутся нелепыми, портящими общую картину, как острая соринка в глазу. Тридцать лет назад не считались с историческим городом, не считаются и теперь — никак, кроме редких и малозначащих случаев, не вернутся сыны Отечества в иркутскую архитектуру, и продолжает она плутать по чужим закромам. Перестроечным штормом набросало к нам много чего ненужного и даже вредного с дальних берегов, оно упало на почву, подготовленную еще политическими ссыльными и торговыми приказчиками, и принялось заявлять о себе общественным мнением, двинувшимся в поход против традиций и нравственности, точно его, этот воинственный дух безродного космополитизма, и добывали «во глубине сибирских руд» и сибирских народов.

И тем не менее Иркутск выстоял в эту непогоду; казалось, из последних сил удержал он достоинство и стать нерядового по облику и званию города. Здесь не прерывалась, как во многих других городах его масштаба, подача электричества и тепла, не останавливался общественный транспорт. И внешнее уныние, которое видимым серым пологом вздымается над человеческим поселением при затяжном ненастье, не сгустилось в мрачную давящую тучу.

Не допустить упадка — значит подпереть старое новым, во всякое время в укреплении жизни ступить вперед. Немало иркутян, должно быть, не побывает никогда в обновленном здании драмтеатра, насчитывающего более ста лет, ибо не все ходят в театр, и станут любоваться им лишь с улицы. Но сам факт чудесного преображения театра, сама картина его величавого, «боярского» вида в окружении не менее достойной иркутской старины поможет не померкнуть и общей надежде. И многие из иркутян, должно быть, не доберутся никогда до мемориальной церкви Рождества Христова, за год волшебной вознесенной на месте падения тяжелого транспортного самолета, врезавшегося в жилой дом... Не доберутся — потому что случилось это в дальнем районе города, который так и называется — второй Иркутск. Но Иркутск без этой печальной красавицы церкви, вырисованной по типу древнейшего храма на Нерли, теперь и представить нельзя. И поминальный звон ее колоколов, под который читаются имена более чем

семидесяти погибших, слышен далеко и всюду. Город, оплакивающий ушедших и страждущий о несчастных, — вот что такое город живых.

За последнее десятилетие XX века, за десятилетие, которое в России слишком далеко было от мира и благополучия, Иркутск добавил в себя и врастил в свой организм как совершенно необходимую часть и Музей истории города, и филиал его, и библиотеку имени семьи Полевых, уроженцев Иркутска, и Театр народной драмы, и шатровое, легкое, небесной голубизны здание медицинского диагностического центра со сверхсовременным оборудованием, и торговый рынок — все новое, удобное и долговременное, нисколько не перечашее сложившемуся облику исторического города. Это как бы со стороны административной власти. Тщанием власти духовной после долгого перерыва возрожден Знаменский женский монастырь, из небытия поднята Казанская церковь, одна из самых «картинных» — будто сложенная из самоцветов, восстановлена Троицкая церковь, на очереди следующие, пока еще молчаливые, — когда-то Иркутск удивительно красив был своими многими храмами, составлявшими вместе законченный смысл его бытия. И общим радетьельством открыта женская православная гимназия, о чем долго и мечтать не приходилось. Девочки в форменных платьях и с косичками, как бы явившиеся из далекого прошлого, спорящего с настоящим, теперь не в диковинку на улицах, вызывая теплые вздохи и взгляды старых иркутян: и до этого дожили, не все плохо.

Не все плохо. Осталось дожидаться, когда в соответствии с уставом исторического города вернут его старым улицам исконные названия: негоже Иркутску, пришедшему издалека, увековечивать имена людей, не имевших к нему благодетельного отношения.

За свои неполные три с половиной века Иркутск не однажды проходил сквозь гибельные времена. В одних случаях они бывали общими для всей России, в других — его личными, как, к примеру, при опустошительном огне. В него никогда не входил чужеземец, но в терниях избыточной власти и свой брат горазд был похозяйничать по заемным и яремным уставам. Всякое видывал Иркутск и набрался терпения и воли как для коротких, так и для долгих перемог, сквозь тяжелое дыхание нашептывая слова утешения и поддержки для тысяч и тысяч поклонников, для кого он и крыша, и хлеб, и работа, и праздник. Однако история не может долго влачиться только бедами: потрясет-потрясет на плохих дорогах и успокоится, даст отдохнуть... Наступят лучшие времена. Но и в худшие, и в лучшие каким-то вседержительным оком, тревожным и внимательным, всматривается Иркутск в нас: какие бы вы ни были, все вы мои...

Этим берегом и вздохнем утешенно: Иркутск с нами.

*1979, 1999*